

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет назад, в Таганроге, в чеховские дни Мария Павловна, сестра Чехова, рассказала мне о том, как работал Антон Павлович.

Этот рассказ навсегда врезался мне в память:

— Антона!

Не слышит.

— Аントоненка! Посмотри на часы.

Уже полчаса восьмого.

— Погоди, Машенька.

— Опоздаем в театр.

Молчал.

А сам все пишет.

Быстро-быстро. И не

смотрят на бумагу.

Шея выпянута. Глаза

неподвижно устремлены куда-то

вдаль, широко открыты и светятся, как плоскости.

Помню, Мария Павловна именно так и сказала: как плоскости.

Удивительно живо представилась вся картина: пинущий Чехов с глазами, как плоскости. В это время он ничего не видел и не слышал вокруг себя. Все происходило в нем. Это была таинственная, сокровенная минута перевоплощения — самое драгоценное свойство подлинного художника.

Без этого дара перевоплощения, когда художник является в одно и то же время и творцом, и собственным творением, писатель, как бы талантлив он ни был, никогда не сделается великим.

Антон Чехов был писатель великий. У него был врожденный дар перевоплощения. Он был художник, как говорится, маэстро бойкой.

Он вышел из низов. Из самой гущи народной. Его дед был крестьянским.

«Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают цену молодости», — писал Чехов Суворину, обобщая судьбу целого поколения русской разночинной интеллигентии, вышедшей из народа. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крестьянского, бывший лавочник, певчий, гимназист, студент, воспитанный на чиновничестве, целями поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калоши, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и болту и людям без всякой надобности, только из сознания своегоничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливается из себя по каплю раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».

Вот что страстно желал, вот что неутомимо проповедовал Чехов, вот во имя чего жил: чтобы в жилах людей текла не рабская кровь, а настоящая человеческая!

Это была основная тема его творчества.

Подобно другому русскому человеку из гущи народа, Ломоносову, Чехов не только «выбился в люди», как принято было высокомерно говорить раньше о таких талантах из низов, но стал гордостью русского народа, нашей лучшей славой, нариду с Пушкиным, Гоголем, Толстым, Достоевским.

Над любви к Чехову сходятся люди самых различных, а подчас даже и прямо противоположных вкусов. Он признан всеми. Мне еще никогдя не встречался человек, который бы сказал, что ему не нравится Чехов.

При мне спросили Маяковского, кого он любит больше всего из русских писателей, и он, не задумываясь, сказал: Чехова!

В этой связи я вспомнил другое высказывание Маяковского о Чехове, еще до революции, когда совсем юный Маяковский считал себя футуристом и по молодости лет сбрасывал «с Парохода Современности» Толстого, Достоевского, Пушкина и других классиков.

Вот что, между прочим, говорилось в статье Маяковского «Лва Чехова», где он приветствовал Чехова как одного из династий «Королей Слова».

«Понятие о красоте остановилось в росте, оторвалось от жизни и объявило себя вечным и бессмертным...

А за оградой маленькая лавочка выросла в пестрый кирпичный базар. В скопинскую жизнь усадеб ворвались разноголосая чеховская толпа адвокатов, акцизных, приказчиков, дам с собачками...

Пол стук топоров по вишневым салам распределился с аукционом вместе с гобеленами, с красной мебелью в стиле полуторы дожинки людовиков и гардероб изношенных слов».

Здесь Маяковский явно имел в виду знаменитый «многоязычный шкаф».

...Из привычной обывательской фигуры ничем недовольного вытика, — пишет далее Маяковский, — ходатая перед обществом за «смешных» людей, Чехова — «певца сумерек», выступают лиции другого Чехова — сильного, веселого художника слова».

Как видите, молодой Маяковский, со свойственным ему своеобразием, выступил на защиту памяти Чехова от тех критиков, которые всю жизнь мучили Чехова, называя его «пыльником», «певцом сумерек», «хмурым человеком» в прочищенных взорами определениях.

Самое замечательное заключается в том, что мнение Маяковского о Чехове оказалось весьма близким по духу к пониманию Чеховым самого себя.

Он был не просто большим художником. Он был художником громадным. Ге-

100-ЛЕТИЮ со дня рождения Антона Павловича Чехова было посвящено вчера торжественное заседание в Большом театре Союза ССР. Арины, взволнованном вступительным словом заседание открыл Константин Федин. «Слово о Чехове» произнес В. Катаев. (Речь В. Катаева публикуется нами сегодня с незначительными сокращениями.) С речами на вечере выступали представители советской общественности, а также прибывшие на юбилейные торжества зарубежные гости. В большом концерте участвовали видные деятели сценического и музыкального искусства. На торжественном заседании присутствовали товарищи А. Б. Аристов, Л. И. Бернштейн, Н. Никитов, А. И. Миногиц, Н. А. Мухитдинов, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник, А. Н. Ко-сыгин.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ОРГАН ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Год издания 31-й

№ 13 (4138)

Суббота,

30

января

1960 г.

Цена 40 коп.

ДОБРОЕ, БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Валентин КАТАЕВ

бывает безлюдных пейзажей. У него пейзаж слит с человеком. Пейзаж и человек дополняют друг друга. Вот в чем принципиальная разница между пейзажем Чехова и пейзажем Левитана, хотя почему-то принято их считать очень родственными. А по-моему — ничего похожего.

Чехов достиг величайшего совершенства в умении коротко, сжато, как бы всколыхну, между прочим и почти незаметно для читателя дать законченный портрет человека. Причем это вовсе не эскиз, не белая подделка. Нет. Это не вполне законченное, даже монументальное.

Дар перевоплощения помогает Чехову найти для каждого персонажа свой стиль, не повторяющуюся ионтиацию. Чехов поразил необычайной манерой.

Свои повести и рассказы он строит, как стихотворения, подчиная стройной, сжатой ритмической форме. Это позволяет ему в маленькой повести вместить (Окончание на 3-й стр.)

ЛЮБОВЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Вчера на Новодевичьем кладбище, у могилы Антона Павловича Чехова, состоялся митинг. Его открыл председатель Всесоюзного юбилейного комитета Константин Федин.

— Мы собрались здесь, — сказал он, — чтобы выразить наши чувства велико. му русскому писателю, значение которого для потомства с каждым годом становится все более и более ясным.

Вスタンции выступил от имени артиста Художественного театра, который, огорченный вчерашними беспорядками, вспоминает Антона Павловича Чехова — «вечного автора МХАТа и постоянного спутника всего советского театра».

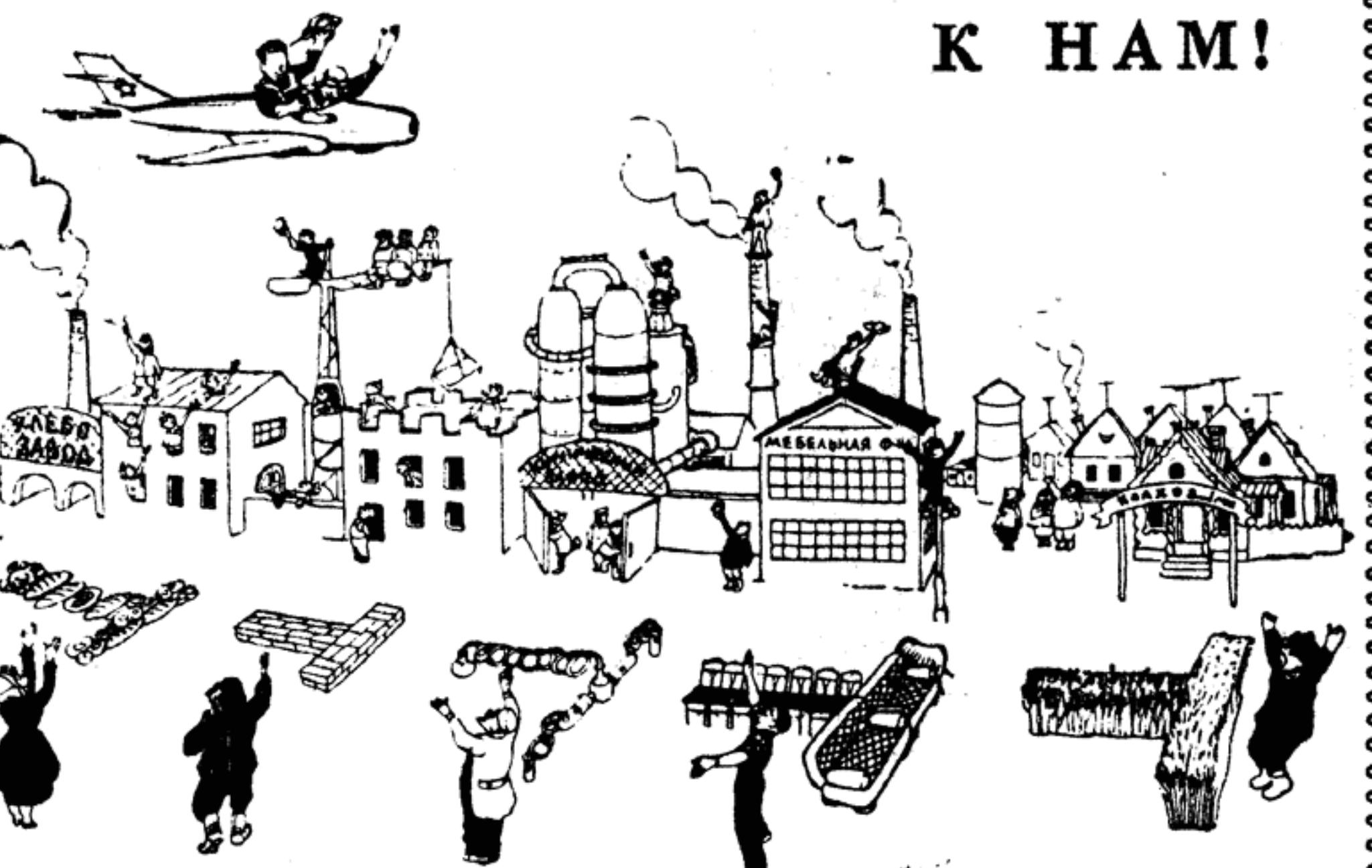
— Далека от нас чеховская Россия, но близок и бесконечно дорог всем нации. Новодевичий кладбище Чехов, на творение которого вспоминаются, — это памятник советским людям, — сказала в своей речи представитель Московского Совета депутатов трудящихся Е. Просветова.

О мировом значении А. П. Чехова говорил А. Сорокин, выступавший по поручению Советского комитета защиты мира. Вызванный сам чеховской драматурги и прозы, сказал он, цветет в всех континентах.

От имени таганрожцев-замыслов А. П. Чехова — выступила с речью Н. Устиненко.

На могилу великого писателя было возложено много венков.

К нам!



Мирные ориентиры для демобилизованных воинов.

Рисунок Е. ГОРОХОВА

МИР БЕЗ ОРУЖИЯ. 196... ГОД

Как мы будем жить без «холодной войны»?

Норман КАЗИНС, американский писатель

ПРЯМЫЕ переговоры между руками — необходимое предварительное условие прочного мира.

Но не следует допускать, чтобы эти переговоры стали самоцелью. Они должны привести к конкретным и достаточно серьезным мерам, благодаря которым в интересах всех народов в мире воцарится прочная безопасность и здравомыслие. Ибо собрать верховых руководителей — еще недостаточно.

Разрешите мне на минуту отвлечься.

Все мы: американцы, русские, англичане, французы, китайцы, ливанцы, египтяне, тайландинцы — существуем двух совершенно различных мирах.

Первый из этих миров — старый, знакомый, зрячий, легко воспалимый и недееспособный. Это мир, в котором страны действуют так же, как действовали всегда. Они знают о опасности, что ведут существование, полное риска и неожиданности; что в жизни часто случаются нападения из-за угла

и необходимое предварительное условие прочного мира.

И, конечно, — поразительный талант.

Говоря о писательском таланте — как

теперь принято говорить «мастерстве» —

Чехова, я имею в виду ту высшую

простоту, скромность художественных средств, которые в руках подлинного художника стоят гораздо дороже самых изысканных словесных построений и метафор, многозначительных арханизмов и кустарных подделок под языки народную

речь в духе чеховского Епихова, слога

, без всего того должно художественно

го, что многие критики и до сих пор еще

продолжают самоуверенно называть «соч-

но», «ярко», «красочно» и чего Чехов

не может.

Я полагаю, что эти права надежнее

всего удастся обеспечить в том случае, если страны сами подчинятся господству закона.

В наше время существуют в условиях маэровского беззакония. Нет никакого зафиксированного свода международных законов, никакого аппарата для их применения в жизни на основе справедливости.

Поэтому, на мой взгляд, одна из важнейших целей совещания в верхах должна заключаться в том, чтобы помочь подготовить условия, при которых можно будет положить конец эпохе мировой анархии и открыть эпоху мировых руководителей — еще недостаточно.

Мы должны собрать военно высшие идеи, чтобы они обладают, у них может быть внезапно отнято. Поэтому они настаивают на производстве оружия массового уничтожения. Они пытаются сохранить безопасность с помощью силы. Если эта сила недостаточна, они пытаются объединить ее с силами других стран — в том случае, если они связаны какой-то общностью

и новым — возникнет конфликт. Насколько бы логичным и естественным

неказалось бы той или иной стране утверждать свою суверенитет с помощью силы или демонстрации силы в рамках старого мира, с его заговорами и контраговорами, своеобразием и равновесием.

Военная победа — высшее достижение суверенитета становится недееспособным. Военная победа — высшее достижение суверенитета — отныне уже невозможна. Страны больше не могут объявлять войну или вести войну; они могут объявлять или осуществлять взаимное самоубийство.

Мы существуем в двух различных мирах, но нам приходится за это платить. Решения, может быть, будут принятые на том уровне мысли, который присущ старому миру, но последствия их будут иметь место уже в новом мире.

Страны, руководствуясь прежде всего традиционными этническими представлениями, быстро потерпят свою основную силу, ибо реальная сила в новом мире измеряется в наши дни не столько запасами оружия, сколько способностью страны повести за собой значительное большинство народов земного шара, ее моральной позиции.

Она способностью признавать новые формы суверенитета становится недееспособной.

Вопрос морали в таком мире не имеет никакого отношения к существованию или нет.

Существование в этом новом мире

не означает, что мы должны игнорировать наличие конфликтующих между собой идеологий. Оно просто означает, что мы должны создать новые формы суверенитета между ними.

Соединенные Штаты и Советский Союз должны выжить друг друга на соревнование,

в котором каждая из этих стран должна будет показать, как много она может

делать для человеческого общества.

Мы не представляем в современном мире.

Существование в этом новом мире

не означает, что мы должны игнорировать

различные факторы, вызывающие

конфликты в мире.

Мы должны устранить колоссальную опасность, на которую мы находимся.

Существование в этом новом мире

не означает, что мы должны игнорировать

различные факторы, вызывающие

конфликты в мире.

Мы должны устранить колоссальную опасность, на которую мы находимся.</p

Жить будем иначе!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

живет, развивается и приобретает с каждым годом все большее и большее значение.

Впрочем, в рассуждениях мистера Казинса разговор об «анархии» лишь прелодия, увертюра к главной теме — требованию отказаться от государственного суверенитета.

Казинс не только констатирует печальное отсутствие законности. Он дает совет, как изменить это положение и установить в мире идеальный порядок. Оказывается, достаточно превратить ООН в наднациональный орган, как исчезнут, видимо, в мистическом тумане и гонка вооружений, и германский ворот.

Общение равноправных государств — основная идея международного права. Мешает суверенитет человечеству или же укрепляет шансы на сохранение мира? Я не говорю об абсолютном неограниченном суверенитете. В статье мистера Казинса этот термин встречается несколько раз, и это — чистейшее недоразумение. Абсолютного суверенитета просто не существует. Государство, вступая в отношения с другим государством, берет на себя определенные права и обязанности, так или иначе на взаимных основах ограничивая себя в своих действиях. По мнению мистера Казинса, суверенитет мешает установлению законности. Но представьте на минуту, что произойдет, если при существующих социальных, экономических, политических условиях суверенитет будет упразднен. Ведь это, в сущности, приведет к упразднению международного права: у более слабого государства не будет никакой правовой охраны. Мистер Казинс рисует нам великолепный оазис законности, который возникает на месте забытых песков, но приближении рассмотрения этот оазис оказывается миражом.

Рецепт мистера Казинса никак нельзя причислить к новинкам в методах лечения земного шара от недугов «холодной войны». Об этом говорятся практика последних лет. Атака на национальный суверенитет исходит, как правило, от наиболее экспансионистских кругов, которые под этим флагом пытаются совершить захваты, нарушить международное право. После второй мировой войны многие акты политики «с позиции силы» проходили с преображенiem национального суверенитета. Политические условия при подписании договоров о «помощи» — типичный пример нарушения суверенитета стран, более слабых экономически и политически, пример нарушения международной законности.

Конечно, суверенитет не будет существовать вечно. Когда-нибудь он исчезнет так же, как и само государство. Но сегодня для этого нет политических, социальных и экономических условий. Сегодня мы живем в мире, где системы — социализм и капитализм.

Идеологические расхождения наши глубоки, и они сохранятся, борьба идеологий будет продолжаться. Но мы можем договориться о вопросах мира, в котором заинтересованы все, без различия идеологий. Неужели мистер Казинс всерьез думает, что в рамках национального органа, органа, который будет диктовать свою волю всем государствам, можно разрешить все эти вопросы?

Каким будет мировой орган? Капиталистическим? Социалистическим? Прямого ответа в статье нет. Но этого и не требуется. Все становится ясным, когда знакомишься с практическими рекомендациями. Что предлагает автор статьи? Изменение характера ООН, отмена права вето, создание международных сил ООН. Все это старо, как мир. Отмены права вето в течение многих лет добивались поборники политики «с позиции силы». Это означало бы перенесение порочных приемов машины голосования в Совет Безопасности, это превратило бы ООН в придаток американской политики. Где уж тут свободная дискуссия между суверенными государствами! Подняли руки, и все в полном американском порядке. Всажд раз, когда западные державы в Совете Безопасности пытались обойти право вето, международное положение ухудшалось. Достаточно напомнить о кровопролитной войне в Корее, незаконно прикрытой флагом ООН.

— Почему считается нормальным, чтобы страны обладали средствами вооружения? — спрашивает редактор «Саттердей ревью». Действительно, почему? Мы-то как раз и выступаем за то, чтобы уничтожить оружие всех стран, сдать его на слом, мы выступаем за всеобщее полное разоружение. А за что выступает мистер Казинс? За создание мощных международных сил при ООН, в которой нет принципа единогласия великих держав и все решается по воле тех, кто владеет машиной голосования.

По мнению мистера Казинса, высшее «достижение» суверенитета — война. Я думаю, что высшее проявление суверенитета — мир. И этим он служит интересам человека, интересам человечества. Окончательный облик истории шестидесятых годов определит не ликвидация суверенитета, а укрепление международной законности, не грабеж сил, а сосуществование суверенных государств, принадлежащих к различным социальным системам.

Здравствуй, отец! Как я рад, что увидел тебя. А теперь И отойду от витрины И, оставив тебе одного Там, за стеклом, Поплыну по веселой реке Праздничных улиц Ташкента. И в приливе внешнего счастья, Как малышка, буду нырять Туда, где гриме смеются. А когда надвигается вечер, Я, шагая от тополя к тополю, Не спеша дойду до колхоза, У самой окраины города. Осенние небо повинет Листом голубого стекла Над моей головой, Над всем огроюю Азии, Над хлопком, над виноградниками, Над тополинюю роще. И, возвратившись в город, Я тебе помашу рукой: Доброй ночи, отец!

Большой перевод с итальянского Константина СИМОНОВА

Даже то, что ты умер, оставил меня одного, Было, наверное, нужно Для того, чтобы я, закаленный разумкой, Пусть со слезами, но вырвал, Ес-таки вырвал Ту судьбу, без которой Я самим собою бы не был.

Не соглу тебе — после того, как ты умер, В жизни всякое было; Разные дули ветра над моей головой. Было и так — что твою потерю я могилу, Было и так — что сердце мое высыхало, Делалось камнем. И делал я вещи, которых Ты бы, наверно, не понял.

Что было — то было. Многое было. Пока не нашел я дороги, Что привела наши лица. Твое и мое,

На эту фотографию в Ташкенте, Так далеко от Ломбардии, Что даже трудно представить! Вот мы и встретились, Вот и смылись наши лица, Твое помоложе, мое — немного постарше...

Здравствуй, отец! Как я рад, что увидел тебя. А теперь И отойду от витрины И, оставив тебе одного Там, за стеклом, Поплыну по веселой реке Праздничных улиц Ташкента. И в приливе внешнего счастья, Как малышка, буду нырять Туда, где гриме смеются. А когда надвигается вечер, Я, шагая от тополя к тополю, Не спеша дойду до колхоза, У самой окраины города. Осенние небо повинет Листом голубого стекла Над моей головой, Над всем огроюю Азии, Над хлопком, над виноградниками, Над тополинюю роще. И, возвратившись в город, Я тебе помашу рукой: Доброй ночи, отец!

Большой перевод с итальянского Константина СИМОНОВА

Даже то, что ты умер, оставил меня одного, Было, наверное, нужно Для того, чтобы я, закаленный разумкой, Пусть со слезами, но вырвал, Ес-таки вырвал Ту судьбу, без которой Я самим собою бы не был.

Не соглу тебе — после того, как ты умер, В жизни всякое было; Разные дули ветра над моей головой. Было и так — что твою потерю я могилу, Было и так — что сердце мое высыхало, Делалось камнем. И делал я вещи, которых Ты бы, наверно, не понял.

Что было — то было. Многое было. Пока не нашел я дороги, Что привела наши лица. Твое и мое,

На эту фотографию в Ташкенте, Так далеко от Ломбардии, Что даже трудно представить! Вот мы и встретились, Вот и смылись наши лица, Твое помоложе, мое — немного постарше...

Здравствуй, отец! Как я рад, что увидел тебя. А теперь И отойду от витрины И, оставив тебе одного Там, за стеклом, Поплыну по веселой реке Праздничных улиц Ташкента. И в приливе внешнего счастья, Как малышка, буду нырять Туда, где гриме смеются. А когда надвигается вечер, Я, шагая от тополя к тополю, Не спеша дойду до колхоза, У самой окраины города. Осенние небо повинет Листом голубого стекла Над моей головой, Над всем огроюю Азии, Над хлопком, над виноградниками, Над тополинюю роще. И, возвратившись в город, Я тебе помашу рукой: Доброй ночи, отец!

Большой перевод с итальянского Константина СИМОНОВА

Даже то, что ты умер, оставил меня одного, Было, наверное, нужно Для того, чтобы я, закаленный разумкой, Пусть со слезами, но вырвал, Ес-таки вырвал Ту судьбу, без которой Я самим собою бы не был.

Не соглу тебе — после того, как ты умер, В жизни всякое было; Разные дули ветра над моей головой. Было и так — что твою потерю я могилу, Было и так — что сердце мое высыхало, Делалось камнем. И делал я вещи, которых Ты бы, наверно, не понял.

Что было — то было. Многое было. Пока не нашел я дороги, Что привела наши лица. Твое и мое,

На эту фотографию в Ташкенте, Так далеко от Ломбардии, Что даже трудно представить! Вот мы и встретились, Вот и смылись наши лица, Твое помоложе, мое — немного постарше...

Здравствуй, отец! Как я рад, что увидел тебя. А теперь И отойду от витрины И, оставив тебе одного Там, за стеклом, Поплыну по веселой реке Праздничных улиц Ташкента. И в приливе внешнего счастья, Как малышка, буду нырять Туда, где гриме смеются. А когда надвигается вечер, Я, шагая от тополя к тополю, Не спеша дойду до колхоза, У самой окраины города. Осенние небо повинет Листом голубого стекла Над моей головой, Над всем огроюю Азии, Над хлопком, над виноградниками, Над тополинюю роще. И, возвратившись в город, Я тебе помашу рукой: Доброй ночи, отец!

Большой перевод с итальянского Константина СИМОНОВА

Даже то, что ты умер, оставил меня одного, Было, наверное, нужно Для того, чтобы я, закаленный разумкой, Пусть со слезами, но вырвал, Ес-таки вырвал Ту судьбу, без которой Я самим собою бы не был.

Не соглу тебе — после того, как ты умер, В жизни всякое было; Разные дули ветра над моей головой. Было и так — что твою потерю я могилу, Было и так — что сердце мое высыхало, Делалось камнем. И делал я вещи, которых Ты бы, наверно, не понял.

Что было — то было. Многое было. Пока не нашел я дороги, Что привела наши лица. Твое и мое,

На эту фотографию в Ташкенте, Так далеко от Ломбардии, Что даже трудно представить! Вот мы и встретились, Вот и смылись наши лица, Твое помоложе, мое — немного постарше...

Здравствуй, отец! Как я рад, что увидел тебя. А теперь И отойду от витрины И, оставив тебе одного Там, за стеклом, Поплыну по веселой реке Праздничных улиц Ташкента. И в приливе внешнего счастья, Как малышка, буду нырять Туда, где гриме смеются. А когда надвигается вечер, Я, шагая от тополя к тополю, Не спеша дойду до колхоза, У самой окраины города. Осенние небо повинет Листом голубого стекла Над моей головой, Над всем огроюю Азии, Над хлопком, над виноградниками, Над тополинюю роще. И, возвратившись в город, Я тебе помашу рукой: Доброй ночи, отец!

Большой перевод с итальянского Константина СИМОНОВА

Даже то, что ты умер, оставил меня одного, Было, наверное, нужно Для того, чтобы я, закаленный разумкой, Пусть со слезами, но вырвал, Ес-таки вырвал Ту судьбу, без которой Я самим собою бы не был.

Не соглу тебе — после того, как ты умер, В жизни всякое было; Разные дули ветра над моей головой. Было и так — что твою потерю я могилу, Было и так — что сердце мое высыхало, Делалось камнем. И делал я вещи, которых Ты бы, наверно, не понял.

Что было — то было. Многое было. Пока не нашел я дороги, Что привела наши лица. Твое и мое,

На эту фотографию в Ташкенте, Так далеко от Ломбардии, Что даже трудно представить! Вот мы и встретились, Вот и смылись наши лица, Твое помоложе, мое — немного постарше...

Здравствуй, отец! Как я рад, что увидел тебя. А теперь И отойду от витрины И, оставив тебе одного Там, за стеклом, Поплыну по веселой реке Праздничных улиц Ташкента. И в приливе внешнего счастья, Как малышка, буду нырять Туда, где гриме смеются. А когда надвигается вечер, Я, шагая от тополя к тополю, Не спеша дойду до колхоза, У самой окраины города. Осенние небо повинет Листом голубого стекла Над моей головой, Над всем огроюю Азии, Над хлопком, над виноградниками, Над тополинюю роще. И, возвратившись в город, Я тебе помашу рукой: Доброй ночи, отец!

Большой перевод с итальянского Константина СИМОНОВА

Даже то, что ты умер, оставил меня одного, Было, наверное, нужно Для того, чтобы я, закаленный разумкой, Пусть со слезами, но вырвал, Ес-таки вырвал Ту судьбу, без которой Я самим собою бы не был.

Не соглу тебе — после того, как ты умер, В жизни всякое было; Разные дули ветра над моей головой. Было и так — что твою потерю я могилу, Было и так — что сердце мое высыхало, Делалось камнем. И делал я вещи, которых Ты бы, наверно, не понял.

Что было — то было. Многое было. Пока не нашел я дороги, Что привела наши лица. Твое и мое,

На эту фотографию в Ташкенте, Так далеко от Ломбардии, Что даже трудно представить! Вот мы и встретились, Вот и смылись наши лица, Твое помоложе, мое — немного постарше...

Здравствуй, отец! Как я рад, что увидел тебя. А теперь И отойду от витрины И, оставив тебе одного Там, за стеклом, Поплыну по веселой реке Праздничных улиц Ташкента. И в приливе внешнего счастья, Как малышка, буду нырять Туда, где гриме смеются. А когда надвигается вечер, Я, шагая от тополя к тополю, Не спеша дойду до колхоза, У самой окраины города. Осенние небо повинет Листом голубого стекла Над моей головой, Над всем огроюю Азии, Над хлопком, над виноградниками, Над тополинюю роще. И, возвратившись в город, Я тебе помашу рукой: Доброй ночи, отец!

Большой перевод с итальянского Константина СИМОНОВА

Даже то, что ты умер, оставил меня одного, Было, наверное, нужно Для того, чтобы я, закаленный разумкой, Пусть со слезами, но вырвал, Ес-таки вырвал Ту судьбу, без которой Я самим собою бы не был.

Не соглу тебе — после того, как ты умер, В жизни всякое было; Разные дули ветра над моей головой. Было и так — что твою потерю я могилу, Было и так — что сердце мое высыхало, Делалось камнем. И делал я вещи, которых Ты бы, наверно, не понял.

Что было — то было. Многое было. Пока не нашел я дороги, Что привела наши лица. Твое и мое,

На эту фотографию в Ташкенте, Так далеко от Ломбардии, Что даже трудно представить! Вот мы и встретились, Вот и смылись наши лица, Твое помоложе, мое — немного постарше...

Здравствуй, отец! Как я рад, что увидел тебя. А теперь И отойду от витрины И, оставив тебе одного Там, за стеклом, Поплыну по веселой реке Праздничных улиц Ташкента. И в приливе внешнего счастья, Как малышка, буду нырять Туда, где гриме смеются. А когда надвигается вечер, Я, шагая от тополя к тополю, Не спеша дойду до колхоза, У самой окраины города. Осенние небо повинет Листом голубого стекла Над моей головой, Над всем огроюю Азии, Над хлопком, над виноградниками, Над тополинюю роще. И, возвратившись в город, Я тебе помашу рукой: Доброй ночи, отец!

Большой перевод с итальянского Константина СИМОНОВА

Даже то, что ты умер, оставил меня одного, Было, наверное, нужно Для того, чтобы я, закаленный разумкой, Пусть со слезами, но вырвал, Ес-таки вырвал Ту судьбу, без которой Я самим собою бы не был.

Не соглу тебе — после того, как ты умер, В жизни всякое было; Разные дули ветра над моей головой. Было и так — что твою потерю я могилу, Было и так — что сердце мое высыхало, Делалось камнем. И делал я вещи, которых Ты бы, наверно, не понял.

Что было — то было. Многое было. Пока не нашел я дороги, Что привела наши лица. Твое и мое,

На эту фотографию в Ташкенте, Так далеко от Ломбардии, Что даже трудно представить! Вот мы и встретились, Вот и смылись наши лица, Твое помоложе, мое — немного постарше...

Здравствуй, отец! Как я рад, что увидел тебя. А теперь И отойду от витрины И, оставив тебе одного Там, за стеклом, Поплыну по веселой реке Праздничных улиц Ташкента. И в приливе внешнего счастья, Как малышка, буду нырять Туда, где гриме смеются. А когда надвигается вечер, Я, шагая от тополя к тополю, Не спеша дойду до колхоза, У самой окраины города. Осенние небо повинет Листом голубого стекла Над моей головой, Над всем огроюю Азии, Над хлопком, над



Обениные РАССКАЗЫ

Юрий КИРАНОВ

Юрий Кирсанов —
молодой писатель,
всего четырьмя годами
назад начавший выступать в центральной печати
(«Правда», «Новый мир» и др.). Живет он сейчас в селе Пинциг Костромской области.

ЗАПАХ ОСЕНИ

На печи спать нынешней осенью и хорошо, и плохо: под боями тепло и мягко, как в стогу, но только заворачалася, потекла роза на пол, словно воробы побежали по половицам. А захах с печи от горячего жита по всей избе — сладкий, мягкий и сильный.

Руки, плечи, волосы людей пахнут волчьим житом. И когда в школе спросила учителница:

— Ребята, чем это у нас в классе уже который день пахнет?

Один ответил:

— Осенне жигала, Марья Федоровна, али не видите?

— Да ведь и прежние осени были с урожаем...

— Татьяна говорит, что с енотом ле-та у нашей осени новый дух.

ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ

Перед краем лесного оврага неожиданно мимо встремил олень. Он двигался глубоко внизу насторожено, ожидая ветру, и как в стогу видны были только рога. Рога были тонкие, вычерченные с плавностью почти прямых линий, так обязательных для всяческого благородного оленя. Но на концах рогов колыхались точечные и узорчатые пластины племени. Племя почекивалось в такт шагу и в размер поступка ветра.

И лишь очнувшись от минутного ощущения, сумел я понять, что вижу обычный килен, килен старый, стройный, преображеный ветрами.

Теперь, как вспомнишь про него да про другие килены глухоманей, так и чудится, будто замерзли по осенним лесам золотые олени.

БАБЬЕ ЛЕТО

Весь день паук ткал в трахах. К вечеру между высокими травами уже колыхались густой клубок, висящий на длинных крепких растениях.

С рассветом пришла в паутину роса. С восходом установился в паутине луч света, и тонкие, тую натянутые нити засверкали. Покачиваются ветром, они то светились голубизной, то наливались белым блеском, то летучим багряным ииинем. Они сплетались в светящиеся веерные перекрёстия, в стрельчатые готические своды, ажурные ширины, аркады! Этот маленький клубок переливающегося света был похож на все дворы прошлого одновременно.

Это было так удивительно, что сам паук изумленно припал к земле да так и глядел со стороны, пока не ушла роса.

КОНИ

По скатым нивам, по убранным полям бродить коням теперь привольно. И ночью и в полдень, в гуман и в дождь ходят они без присмотра, жиреют, сала гудят в них.

Ружьё кони, словно мальчишки, гоняют друг друга, забирают, и ржавые — хвастливое, дикое. Будто и нет человека для них.

Но стоит ночь в стогу задремать да проклониться среди тьмы, и сльчиши: кони собрались к тебе и тихо гуляют по травам, а иной даже стоит возле самого стога и, может быть, спит, и слышит, как во сне перебирает ушами.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ

По лесу прошел ливень, и я напал на дорогу, когда во всю ширину ее уже катился ручей. Я вошел в воду. Она была холодна, и если бы я хотела немногого опасалася простуды, ни за что не побрал бы водой.

Из-за тучи ударило солнце. Лучи

Юрий КУРАНОВ

его проходили сквозь сокнутые кроны, позеленели и зажгли прошлогоднюю листву сиреневым сиянием. Обочь дороги на этой сиреневой листве я и увидел быстрый босой след. На ближайшей дорожной излучине хозяин следа должен был, глубоко наклонившись, пройти под тяжелой лапой почтенной неба.

Я испугался, что девушка повернется плашом, отпустит его, и тот упадет, обескрыл.

Но девушка не повернулась. Она только долго еще держала платок над головой, и ветер надул его, ветер хотел превратить его в птицу. Платок поворил ветру и рвался в небо.

Испугалася, что девушка повернется плашом, отпустит его, и тот упадет, обескрыл.

На лопате головы от дождя илами кротко держала на ветру длинный желтый волос. Волос скручивался в широкую сверкающую спираль, ветер старался разогнать его, но гроза уже прошла, и силы у ветра не хватало.

Женщина явно торопилась, словно сквозь листья в грядь, но все-таки не входила в ручей. Я вышел из ручья, осторожно ступая там, где прошла она. Моя широкая нога закрыла ее ступню без остатка. Мне хотелось идти по этому следу, куда угодно.

Ручей спирнул с дороги и ушел в лес, оправу. Тенеря и юная, за кем спешила светловолосая лесная путешественница, потому что из ручья вышела на дорогу широкий мужской след.

Но я все продолжал идти за ней, пока следы вели по глинистой холодной дороге. Когда дорога взмыла на теплый песчаник косогор, словно с неба свалился на нее третий, крошечный, детский след.

Что делают? И я свернулся в чащу, потому что уже давно прошел тропинку, которая могла привести меня прямо к дому.

КОРАБЛИ

Вокруг села растут срубы. Их рубят, громоздят прямо на лужах, прошагают на земле. Потом их разберут и сошьют станут, где нужноставить дом.

Изделия эти длинные пустые сооружения на взгорицах окраин напоминают корабли. Корабли с ожиданием смотрят в желтые дали осени, откуда дует лиственный ветер. Вериши, что вот-вот и двинутся эти белые молодые суда в бесконечный счастливый поход. Навстречу днем, настороже ветру, на встречу запахам падой листьев.

По срубам бегают ребята, выглядывают в окна, играют в какие-нибудь новые виды игры. Вот они, они-то и станут капитанами этих кораблей в их далеких, неведомых странствах.

К ТОМУ ВРЕМЕНИ

За селом по аэродрому народ. Провожают новобрачев.

Пришли самолеты. Новобрачев проводили.

Возвращаясь в село, скучающая глубокоглазая старушка объясняет своей дочери:

— Ну вот, Пашка, дело сделано: Митяка пошел армии честь послужить. Теперь одно главное вблизи осталось: замуж тебя отдать.

— Не пойду замуж, — говорит пятнадцатилетняя Пашка, морщит лоб и никак не может сбрынуть на веснушках темножелтую луб моршинки.

— Что же, или у потеряла?

— Былаешь, а ее заберут служить, вот и сонхи тогда. Наревшись.

— Ой, девка, к тому-то времени, може, и совсем брат перестанут. Но раздуть-то я слыхивала, что скажут?

ЛИСТЬЯ

Те самые листья, которые так недавно шумели высоко под облаками, теперь лежат ко мне под окно.

— Куда вы летите?

Они топутся у завалины торопливой золотой стаей. Они сияют поведать мне что-то. Но я не понимаю речей их.

— О чём?

Тогда они летят к малышу Гельке, который сидит посреди дороги и возводит из пыли какие-то липовые города. Они окружают его. Они вспарывают ему на локти и на плечи. Он улыбается им, он подбрасывает их, он их ловит. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почиваете беспощадного сатирика, силой

которого увлекают.

Чехов умеет и любит изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых жизненниках, о детях, животных, о птицах. И все, в чему он прикасался его добрая большая рука, начинало светиться радостью, теплом ульяком. Но в основном он, конечно, был художником-разоблачителем. На первый взгляд он кажется мягким, даже лирическим. Но витаетесь в Чехова. И

Мятеж в Алжире — угроза демократии

ПЯТНИЦА, 29 января. Приход и ся указывать дату, так как события развиваются быстро. Фашистский мятеж, поднявший в воскресенье в Алжире, вызывает во Франции тревогу. И она вполне оправдана.

Случившееся подтверждает правоту Коммунистической партии Франции. Коммунисты были правы, когда предупреждали, что продлжение алжирской войны чревато угрозой фашизма. Коммунисты были правы, когда говорили, что провозглашенная генералом де Голлем политика самоопределения представляет собой реальный сдвиг по сравнению с той политикой, которую до сих пор проводило правительство Франции. В то же время коммунисты подчеркивают, что в среде французской буржуазии существуют серьезные противоречия по алжирскому вопросу. Без их учета невозможно понять событий, разыгравшихся сегодня.

Ультраколонизаторы и слышать не хотят о самоопределении для алжирского народа. Они стремятся продолжать эксплуатацию алжирцев, по-прежнему «выжимая пот из арабов». Они хотели бы установить в Алжире «порядок», базирующийся на одной лишь силе оружия. В отличие от них представители монополий и финансового капитала, группирующиеся вокруг генерала де Голля, понимают, что прежними методами насилия не удастся эксплуатировать сахарскую нефть. Политика самоопределения противопоставляется горячечному политическому бреду ультраколонизаторов не изображений гуманизма, справедливости и прогресса, из различного понимания собственных интересов.

В этом состоит отличие нынешней ситуации от той, которая сложилась в мае 1958 года. На этот раз фашисты лишили возможности использовать в своих целях личный престиж генерала де Голля. Это отнюдь не означает, однако, что силы их невелики. Надо признать, что мятежники удалось увлечь за собой значительную часть европейского населения столицы Алжира. И в самой Франции «ультра» пользуются поддержкой организованных фашистских элементов, располагающих оружием. Пусть они не решились выступить открыто в эти дни, — тем не менее их нельзя сбрасывать со счетов.

Французский народ сознает неизбежность борьбы. На карту поставлена не только надежда на установление мира в Алжире, но и на сохранение во Франции демократических свобод. Каждый француз сознает серьезность обстановки, сложившейся в эти дни.

И все же обстановка для профашистских сил не так благоприятна, как в мае 1958 года. Прежде всего большинство, вернее, будет сказать огромное большинство французского народа одобряет политику самоопределения,

Андре СТИЛЬ,
французский писатель

предвождаша нью генералом де Голлем. Люди различной партийной принадлежности — в 1958 году они были политическими противниками — теперь находят общий язык. Среди них можно встретить и представителей правых партий, и коммунистов. И те, и другие осуждают алжирских мятежников. Можно сказать, лишь об одном исключении: газета «Паризен либер» поддержала мятеж, хотя также такие реакционные газеты, как «Фигаро» и «Орор», осудили его.

Пронски ультраколонизаторов осуждают и за пределами Франции. Общественность единодушно выступает против мятежников.

Тем не менее, угроза продолжает оставаться серьезной. Она усугубляет с нерешительностью и колебаниями французских властей, которые скорее стремятся к компромиссу, нежели к политики, действительно отвечающей интересам Алжира и Франции.

Как ни печально, за обещанием предоставить самоопределение народам Алжира до сих пор не последовало конкретных шагов. Война продолжается 22 января в Елисейском дворце в Париже состоялось совещание правительства, посвященное алжирской проблеме. На этом совещании наряду с подтверждением принципа самоопределения было указано, что военное «умиротворение» будет продолжаться в 1960 году. 8 января фашисты выступили в Алжире с призывом к вооруженному. Правительство не принял против них решительных мер, и в воскресенье начался мятеж. И тут была проявлено удивительная мягкость: им позволили собрать силы, вооружиться и занять укрепленные позиции. Только вчера обнаружились проблески некоторой решимости: арестованы руководители фашистских организаций, издан приказ согласно которому Делуврье и генералу Шалю предложено перенести свой командный пункт за пределы столицы Алжира. Правда, в самой Франции за прещены собраны газеты «Юманите». Конфискована только за то, что опубликовали обращение полпреда ЦК Коммунистической партии Франции, призывающее всех французов единодушно бороться за обездание мятежников и поддержать политику самоопределения.

Французский народ сознает неизбежность борьбы. На карту поставлена не только надежда на установление мира в Алжире, но и на сохранение во Франции демократических свобод. Каждый француз сознает серьезность обстановки, сложившейся в эти дни.

Я не берусь предсказать, что произойдет в ближайшие часы, какие меры будут применены Алжире, что скажет сегодня вечером в своей речи генерал де Голль. Но несомненно одно: могучее народное движение за мир в Алжире окажет большое влияние на события в ближайших дни.

ПАРИЖ, 29 января. (По телефону)

Крылатые песни

Н ЕДАВНО довелось мне побывать на Международной сельскохозяйственной выставке в Дели. В советском павильоне мы снова слышали «Песню о Родине». Здесь, в этой непривычной обстановке она звучала как-то особенно гордо и величественно. Удивительная это песня: проходит годы, подрастают новые поколения, а она не теряет ни своей красоты, ни своих сил, ни своей свежести. Песнь эту создал композитор Исаак Осипович Дунаевский.

Щедрый и многообразный художник обогатил нашу музыкальную культуру множеством прекрасных и крылатыхмелодий, без которых невозможно представить теперь советскую песню. Могучая поступь «Марши энтузиастов», певучая молодость «Марша веселых ребят», широкий разлив песни о цветущей капели, лирическая зашевеленность «Каховки», его песни — трудовые, спортивные, дорожные, хороводные, щуточные и многие, многие другие. Все это — наше бесценное богатство.

Песня Дунаевского всегда возникала из задач, тревог, радостей и волнений нашего дня. И потому она так легко за- веялась и покорила сердца миллионов слушателей.

Творческая встреча и дружба с композитором была большим счастьем в моей жизни. С волнением припоминаю я часы, проведенные рядом с ним у его корничного рояля. Так увлекательно и интересно было следить за тем, как напряженно работал композитор.

В эти дни все друзья советской песни отмечают шестидесятилетие со дня рождения выдающегося композитора. В Колонном зале состоялся большой концерт из произведений Дунаевского. В Театре оперетты можно было услышать специальную программу, составленную из отрывков оперетт Дунаевского. В Доме кино, в Доме композиторов, в Доме работников искусств с воспоминаниями выступали актеры, режиссеры, музыканты.

Девять и мы с вами включим сейчас радио. Вот в приемнике звяжется зеленый огонек, и снова в нашу комнату врывается молодая и ликующая, всегда зовущая к полету и счастью, жизнерадостная песня Дунаевского.

Мих. МАТУСОВСКИЙ

Правду говорить необходимо, даже проще жить. Иносказательно: Нет нужды особенной всегда заявлять решительное «да»...

Но тогда Не жди и ты в ответ Честных «да» И откровенных «нет»...

В последние времена много говорят и пишут о Евтушенко. И приходится только удивляться тому, с какой неуместной настойчивостью создается нездоровье писателя. В газетных заметках и даже фельетонах критикуются и высмеиваются некоторые его последние стихи, в которых есть пошлость и рисовка. И вовсе не собираясь брать под защиту справедливо раскрытионанную тенденцию в этих стихах, но хочу сказать, что критиковать поэта нужно по-хозяйски, чтобы помочь ему, чтобы правильно его ориентировать. Мне, например, кажется, что Евтушенко наоборот пишет в «Литературной газете». Но это, кажется, одна из первых дальнейших стихий Евтушениной, которая по-серьезному предупреждает, что талант можно легко загубить, если поэт не имеет своего главного назначения в жизни и в литературе.

Я мог бы продолжить перечень имен. Перефраз мой лежит большая горка поэтических сборников, и почти в каждом из них я нашел стихи достойные, чтобы их отметить и даже процитировать. Серьезного внимания заслуживает сложная и значительная поэма Лукошина «Признание в любви» — «плод глубоких раздумий большой творческой работы талантливого поэта», как спрашивали писал о ней Б. Орлов в «Литературной газете».

Хорошо, что поэты много ездят по стране. Мы должны знать свою Родину. Хорошо, что кое-кто побывал за границей. Но за вдохновением не обязательно надо лететь на «ТУ», можно иногда поехать и в трамвае. Говоря по совести, разве многие из нас бывали на московских фабриках и заводах, на научно-исследовательских институтах? Разве вспомнили мы завод имени Ильича, завод «Серги и Молот», завод имени Лихачева, где трудятся чудесные люди, цвет нашего общества? Некоторые поэты

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

ПЯТЬ СУТОК, или УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕННЕЕ

Это было вечером, и этот вечер был похож на другие вечера, на два, на три, на пять вечеров. Шел снег. Он, как всегда, напоминал прохожих о первом любви и неизвестном среднем образовании.

СУТКИ ПЕРВЫЕ. Освещается проходом. На лице с «аским», обившись, сидят Любков и Энина. Окно тихо играло что-то такое.

Энина (после паузы): — Только Ты не думай, что я со всяким покутателем так сяду.

Любков: — А я и не думаю.

Энина: — Просто каждой женщине в такую погоду хочется, чтобы на сердце тепло было. Ну вот и я, вообще то, я — член профсоюза. И у меня нагрузка — каска взаимомощности.

Любков: — Оно и видно.

Энина: — Эй ты, Сева.

Любков: — Сяди на спину к себе.

Энина: — Я сяду. Ты плачешь? Сева, что случилось?

Любков: — Ничего я не слышалось.

Энина: — В комнату вваливается совершенный пьяный Игорь с девушки.

Игорь: — Ба-бабушка, я пьян!

Любков: — А это Ма-Маруся!

Девушка: — Ваши Игорь какой-то

Игорь: — Это т-тебе к-кактесь...

Девушка: — Абсолютный псих!

Любков: — Это я беру на себя!

СУТКИ ЧЕТВЕРТЫЕ. Еще более поздний вечер. Но снег все так же идет. Та же комната, но все по-другому. Протрезвевший Игорь уснеенно занимается. Вали в столовик изучает английский язык.

Любков: — Гусь работает над собой.

Игорь: — А, знаете, вы — занятый дядька. С одной стороны — вроде положительный, а с другой — вроде отрицательный...

Туса: — Игорь...

Вали: — Игра на Псих-о-Пат!

Энина: — (Все не смеются.)

Любков: — Ну, вот что: я пошел!

(Встает, одевается.)

Туса: — Сева, ты куда?

Любков: — Ты хочешь знать?

Изволь, я скажу тебе. Я иду на крышу сбрасывать снег. Дело в том, что я не академик, не герой, не мореплаватель, а... дворник. Прощай! Я люблю свое дело! (Туса поспешно одевается.)

Туса: — С тобой на крышу?

(Выходит.)

(В снегу) Игорь целует Вали.

Вали: — Охапка! Адамы!

СУТКИ ПЯТЬТЕ. Вечер, снег, крыши. Любков и Туса с лопатами.

Туса: — Я всегда знала, что ты будешь выше нас всех.

Любков: — Какое у тебя ухо красивое...

Последний. Опять поздний вечер. За окном все еще идет снег. На окне сидят Любков и Туса.

Туса: — А помнишь, ты хотел стать академиком...

Любков (мрачно): — Стал.

?

— Мне нравится писать! — воскликнула писательница. — Но что, если кто-то поймет, что не так?

Конечно, дурак — не существенный фактор, но надо, чтобы нам не прибрали дураки.

Давайте лучше комедию нашу поднимем, скажем, прошлым летом.

СУТКИ ТРЕТЬЕ. Комната Тусы. Опять поздний вечер. За окном все еще идет снег. На окне сидят Любков и Туса.

Туса: — А помнишь, ты хотел стать академиком...

Любков (мрачно): — Стал.

?

— Мне нравится писать! — воскликнула писательница. — Но что, если кто-то поймет, что не так?

Конечно, дурак — не существенный фактор, но надо, чтобы нам не прибрали дураки.

Давайте лучше комедию нашу поднимем, скажем, прошлым летом.

СУТКИ ЧЕТВЕРТЬЕ. Вечер, снег, крыши. Любков и Туса с лопатами.

Туса: — Я всегда знала, что ты будешь выше нас всех.

Любков: — Какое у тебя ухо красивое...

Последний. Опять поздний вечер. За окном все еще идет снег. На окне сидят Любков и Туса.

Туса: — А помнишь, ты хотел стать академиком...

Любков (мрачно): — Стал.

?

— Мне нравится писать! — воскликнула писательница. — Но что, если кто-то поймет, что не так?

Конечно, дурак — не существенный фактор, но надо, чтобы нам не прибрали дураки.

Давайте лучше комедию нашу поднимем, скажем, прошлым летом.

СУТКИ ПЯТЬТЕ. Вечер, снег, крыши. Любков и Туса с лопатами.

Туса: — Я всегда знала, что ты будешь выше нас всех.

Любков: — Какое у тебя ухо красивое...

Последний. Опять поздний вечер. За окном все еще идет снег. На окне сидят Любков и Туса.

Туса: — А помнишь, ты хотел стать ак